

Повальников С. Иностранная печать о революции в России: По материалам Архива внешней политики России // Международная жизнь. 1967. № 7. С. 33–38.

Цуладзе А. Политическая мифология. М., 2003.

Keep G. October in provinces // Revolutionary Russia. Ed. by R. Pipes. Cambridge, P. 1968. P. 180–216.

Fainsod M. How Russia is Ruled. Cambridge, 1965.

УДК 94(470).084

О. В. Горбачев

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ОТ МАТЕРИАЛЬНОСТИ К МИФУ¹

Целью статьи является выяснение того, как формировалась идея нового советского пространства в 1920-е гг. и почему к середине 1930-х гг. восторжествовал сталинский пространственный миф. Основным методологическим подходом автора является концепция «социального пространства», позволяющая увязать представления о пространстве с реальными процессами, происходившими в советском обществе.

Констатируется, что в 1920-е гг. на идею пространства последовательно влияли концепция «мировой революции», мероприятия национальной политики и проекты экономического районирования территории. Показано, как под влиянием политики индустриализации формировалась административная утопия овладения пространством. Подчеркивается принципиальное отличие этой утопии от будущего сталинского пространственного мифа.

Охарактеризованы основные черты советской мифологии пространства, сложившейся к середине 1930-х гг.; показана символическая роль географической карты, несущей не столько визуальную, сколько вербальную нагрузку, и в большей степени апеллирующую к категории времени, а не пространства.

Ключевые слова: социальное пространство, территория СССР, политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг., мифология пространства, граница, картографирование.

Значимость любой власти определяется характеристиками территории, в границах которой она реализована – размерами, степенью освоенности, возможностями контроля и защиты, а также приспособления для своих нужд. Большевики в этом смысле не были исключением. Особенность большевистского подхода к освоению пространства со-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»)

стояла в том, что, будучи носителями программы строительства нового общества на обломках старого, они изначально стремились к разрушению прежних территориальных связей, но в конечном счете оказались вынуждены следовать логике имперского управления.

Нашей целью является выяснение того, в какой степени «новое» пространство наследовало «старому», насколько возможной была замена реального пространства желаемым и, наконец, каковы были механизмы мифологизации советского пространства в годы сталинского правления.

Теории пространства. Ответы на эти вопросы следует искать в контексте существующих направлений изучения пространства – традиционного «эссенциалистского» (пространство как географическая и геополитическая данность) и более поздних, так называемого «пространственного поворота» (*spatial turn*) и примыкающей к нему концепции «социального пространства». «Пространственный поворот» предполагает изучение того, «что люди *думали* о своем и чужом пространстве, как они концептуализировали те или иные географические ареалы, как конструировали территориальные целостности и какими смыслами их наделяли» [Савельева, Полетаев, с. 444]. Лозунг этого направления – «пространств не существует, пространства создаются» [Шенк, с. 15].

В основу концепций социального пространства как конструкта человеческого мышления легли работы Георга Зиммеля, Пьера Бурдьё, Энтони Гидденса [см. подробнее: Шенк, с. 15; Филиппов].

Несколько в стороне от этого ряда стоит Анри Лефевр, предполагающий наличие в основе конструируемого пространства некоего материального субстрата. Марксистские убеждения, хотя и изрядно модифицированные, сближают Лефевра с творцами «советского проекта». В работе, первое издание которой вышло в 1985 г., исследователь предположил, что каждый способ производства, наряду с некоторыми социальными отношениями, организует (производит) собственное пространство. В этом смысле Лефевр противопоставляет себя теоретикам «умственного» пространства как ментального конструкта [Лефевр, с. 20]. В то же время, признавая право представителей каждой специальной науки задавать свой угол восприятия предмета, исследователь говорит о неизбежной многозначности понятия «социальное пространство»: «социальные пространства проникают друг в друга и/или накладываются друг на друга» [Лефевр, с. 97]. Репрезентации пространства, считает Лефевр, многочисленны и неизбежны. Поэтому их необходимо изучать. Особенности репрезентаций в том, что они символичны и «некогерентны», т. е. не связаны ни друг с другом, ни с пространственной практикой [Лефевр, с. 55].

Лефевр ввел термин «производство пространства», рассматривая последнее как результат социального воздействия. «Будучи продуктом, пространство интерактивно или ретроактивно влияет на сам процесс производства: организацию производственного труда, транспорт, потоки сырья и энергии, сети распространения продуктов... Оно (т. е. пространство. – О. Г.) приобретает диалектический характер: это продукт-производитель, опора экономических и социальных отношений» [Лефевр, с. 10]. Пытаясь соединить идею пространства с марксистской парадигмой, Лефевр обращает внимание, что эта идея не вписывается в классическую триаду «базис–структура–надстройка». Пространство, по мысли Лефевра, «возникает, формируется, воздействует то на одном уровне, то на другом. То на уровне труда и отношений господства (собственности), то на уровне функционирования надстроек (институтов)... Производство пространства не является “господствующим” в способе производства, но связывает между собой и координирует все аспекты практики – объединяя их именно в единую практику» [Лефевр, с. 11]. В применении к советскому опыту такой подход способен объяснить (и оправдать) достаточно резкую смену приоритетов большевиков по отношению к пространству в течение ограниченного времени, их балансирование между политикой, экономикой, идеологией и культурой².

Для многих исследователей являются неприемлемыми как опасность марксистского экономического редукционизма, так и категоричность ряда идеологов «пространственного поворота», отрицающих материальные сущности. Отсюда видение социального пространства как совокупности нескольких измерений, или «компонентов». Так, по мнению Дитера Лэппле, в него входят:

- 1) *материальный субстрат общественных отношений*, т. е. физическое пространство, преобразованное человеком и включающее социальные объекты;
- 2) *действующие правила и нормы* как связующее звено между материальным субстратом и общественной практикой (формы собственности, отношения власти и контроля, правовые и социальные нормы);
- 3) *общественная практика* (т. е. практика людей, занятых производством, использованием и присвоением материального субстрата);
- 4) *символическое кодирование и восприятие пространства*, т. е. система его репрезентации [Läpple, s. 196–197; Шенк, с. 16].

При таком подходе становится очевидной значимость концепта «социального пространства»: оно демонстрирует взаимосвязь между

² Следует заметить, что Лефевр скорее отрицает существование специфического «социалистического» пространства. Он считает, что заранее заданного соответствия между отношениями социальными и пространственными не существует (см.: [Лефевр, с. 14]).

«банальной» (традиционной) концепцией физического пространства и порождаемыми им «иллюзорными идеями» [Läpple, s. 198].

Подходы к изучению советского пространства. Важность пространственного аспекта для понимания *советской истории* – отличительная черта многих современных исследований. «Мы можем определить историю Советского Союза как историю формирования нового пространства, “советского пространства”», – пишет Карл Шлэгель [Schloegel, p. 417]. На взаимосвязь процесса создания, атрибутирования и изменения пространства (реального и метафорического), и облика советской власти обращает внимание Синтия Рудер [Ruder, p. 2]. Причину этой зависимости исследовательница усматривает в огромных размерах государства.

Исследования, выполненные в русле «пространственного поворота», концептуализируют советское пространство как мифологему, как некую доминирующую ментальную конструкцию [см. напр. Clark; Dobrenko; van Geldern и др.]. Вполне законченную картину в этом смысле являет Советский Союз второй половины 1930-х гг., мифологический образ которого как страны, «где так вольно дышит человек», был многократно воспет в сталинской массовой культуре. При всей основательности исследовательского подхода адептов «пространственного поворота» актуальным остается задача определения истоков формирования мифа и его отношения к реальности в процессе формирования (ср.: «Историк... может говорить о пространстве, сконструированном участниками социального взаимодействия, а может изучать сам процесс конструирования пространственных образований в тот или иной период прошлого» [Савельева, Полетаев, с. 443]). В применении к СССР это означает изучение изменений основных характеристик советского пространства (реальных и воображаемых) от 1920-х к 1930-м гг., и в том числе – как последние вытесняли первые.

Советская политика 1920-х годов и изменения в отношении к пространству. Место пространства в советской системе ценностей 1920-х гг. следует определять, исходя как из сложившихся отношений российской власти с огромной территорией, так и из приоритетов большевистской власти. Что касается первого, то, начиная с петровских времен, территориальные приобретения, помимо политических и экономических выгод, очевидно способствовали формированию имперского самосознания [Widdis, *To Explore or Conquer*, p. 230–231]. Большевистское отношение к пространству оказалось более сложным, и в нем в течение 1920-х гг. сменилось несколько трендов.

Первый из них связывался с перспективой «мировой революции» и действовал примерно до 1921 г. В свете ожиданий будущего «мирового пожара» фактор территории был неважен. «Точкой поворота» часто называют Рижский мир 1921 г. Так, по мнению Стивена Сигела, этот договор «заставил большевиков пересмотреть свои интернационалистские цели и смириться с восточной границей Польши как ограничителем советских претензий на Западе» [Seegel, p. 264]. Разочарование после неудачной войны с Польшей способствовало изменению территориальных приоритетов Ленина и его соратников: «в 1922 г., через год после подписания Рижского договора, был составлен план разделения советской территории на 21 регион» [Seegel, p. 265]. Здесь немаловажно, что отказ от перспективы «мировой революции» актуализировал идею *границ* Советской России; большевистская идея получила конкретные очертания, заданные физическим пространством.

Следующий большевистский концепт, имеющий отношение к территории и подлежащий переосмыслению – «самоопределение наций» (см. подробнее: [Горбачев]). До появления первой Конституции СССР именно фактор национального строительства следует считать главным в советском освоении территории. При этом Ленин, вслед за Марксом, был убежденным сторонником идеи исчезновения наций в коммунистическом будущем, но по тактическим соображениям считал необходимым мириться с их существованием. Современные исследователи считают, что национальную политику послереволюционных лет определяли не национальные приоритеты, а стремление сохранить территориальную целостность бывшей Российской империи [Мартин, с. 10; Hirsch, p. 209].

Однако вскоре возникли две проблемы. *Во-первых*, идеологически детерминированная нарезка территории бывшей Российской империи по национальному принципу объективно способствовала обострению межнациональных противоречий³; *во-вторых*, она плохо соотносилась с принципами экономического районирования. Начавшаяся вскоре борьба между Наркоматом по делам национальностей и Госпланом завершилась победой последнего. В резолюциях XII съезда РКП (б) (апрель 1923 г.) заявлялось, что Советское государство будет максимально поддерживать только те формы национального устройства, которые не противостоят его целям [Двенадцатый съезд РКП (б), с. 695–696]. Начиная с июня 1923 г. публичное обсуждение «национального вопроса» прекратилось.

³ Появление большого количества национальных территорий имело следствием многократное воспроизведение проблемы национальных меньшинств [Мартин, с. 48].

Итак, инициатива в определении перспектив территориального развития перешла к «экономистам». В решении экономических вопросов причудливо сплелись марксистская идеология, экономическая целесообразность и военно-политическая прагматика.

В это время на первый план предсказуемо вышел вопрос экономического районирования, которому придавалось немалое политическое значение. В глазах большевиков это было средство уйти от прежнего губернского-уездного принципа организации территории. Как отмечал К. Д. Егоров (1925 г.), «термин “административное деление” дышит архаизмом, он устарел и может быть применяем лишь к положению в дореволюционное время, когда государство разделялось на административные единицы для удобства управления территорией в фискальных и полицейских целях» [Егоров, с. 10]. Отныне управление в основе своей должно было стать экономическим, поскольку «нет административных вопросов, которые не имели бы глубокой экономической основы» [Там же]. Идеологический подход при этом проявлялся в том, что «основным ядром новых районов должны быть пролетарские центры» [Егоров, с. 20].

С управленческой точки зрения это перераспределение должно было усилить Советы народного хозяйства по отношению к местным Советам, что немедленно породило неразбериху в системе управления. В итоге власть перешла от экономических к органам административного управления в лице местных Советов, что означало утверждение административного принципа в практике управления территорией. С другой стороны, для обеспечения управляемости Советы были вынуждены «временно» воспроизводиться в границах прежних губерний и уездов [Егоров, с. 20–21]. В конце концов именно административный, а не экономический принцип стал решающим в определении внутренних территориальных границ.

Означал ли этот процесс возрождение прежней имперской территориальной управленческой структуры? В применении ко второй половине 1920-х гг. – скорее нет, чем да. Администрирование этого периода больше, чем когда бы то ни было имело целью решение экономических задач в свете перспектив будущего развития страны. И здесь следует принять во внимание споры сторонников «генетического» и «телеологического» подходов к развитию территории [Меерович]. Если первые опирались на сложившиеся экономические связи и приоритеты, «исторические предпосылки», то вторые – на перспективные «цели», определяемые преимущественно идеологическими ориентирами.

Приоритетным объявлялось промышленное производство. Этот идеологический и, по сути, модернизационный заказ был щедро при-

правлен военной целесообразностью [Меерович]. Прежний аграрный строй сознательно приносился ему в жертву. В дискуссиях второй половины 1920-х гг. можно увидеть следы ранних проектов районирования с той разницей, что если в начале десятилетия говорили, что пролетарские центры возникнут *вместо* «бывших дворянских, помещичьих, чиновничьих, мещанских гнезд» [Егоров, с. 14–15], т. е. в староосвоенных районах, то теперь вектор планирования перемещался на восток, и новую схему административно-территориального деления предполагалось строить вокруг создаваемых «пролетарских ядер», которые были призваны стать якорными факторами перемещения трудовых ресурсов [Меерович].

Здесь принципиально важен перенос акцента с принципа экономической самоорганизации на администрирование, призванное обеспечить достижение цели. Административные усилия выступали средством социального инжиниринга. При этом административный нажим был тем сильнее, чем меньше предпосылок для достижения конечного результата было в реальной действительности. Протест сторонников «генетического» подхода (в том числе А. В. Чаянова и А. Н. Челинцева) против совмещения районирования и администрирования [Меерович] был последней попыткой возврата к экономическому здравому смыслу. Ему на смену пришла эмоционально убедительная картина будущего индустриального процветания, во имя которого с легкостью можно было пожертвовать прежней отсталой деревней. Малонаселенные восточные территории вдруг стали гораздо более привлекательны, чем староосвоенное пространство Европейской части страны.

С этой точки зрения имеет смысл говорить о появлении новой административной утопии. Переход к ней состоялся в результате принятия сначала «оптимального» плана первой пятилетки взамен более реалистичного «отправного», а затем – поправок Сталина, еще более далеких от реальных возможностей государства. В отличие от статичного *мифа*, устремленного в прошлое, *утопия* подвижна и деятельна, поскольку ориентируется на будущее: «*Через четыре года здесь будет город-сад*» [Маяковский].

Пространственная утопия периода первой пятилетки существенно отличалась от будущего сталинского административного мифа, по крайней мере, двумя чертами: *во-первых*, она предполагала движение, мобильность [ср.: Паперный, с. 60–72]; *во-вторых*, делала периферию более значимой по отношению к центру [Widdis, To Explore or Conquer, p. 221]. По мнению Эммы Уиддис, советская пространственная практика этого периода может быть обозначена как *surveying* (изучение, изыскания), по сравнению с пришедшим ему на смену

в середине 1930-х гг. освоением (*osvoenie*, или *conquest*)⁴. Выделяя эти периоды территориальной политики, Уиддис претендует на то, чтобы углубить несколько упрощенное «вертикальное» видение Паперного [Там же], попутно уточняя некоторые прежние радикальные оценки. Например, Джеймс ван Гелдерн под термином «территориальная экспансия» объединил и события Гражданской войны, и электрификацию периода нэпа, и строительство крупных промышленных объектов в ходе индустриализации [van Geldern, p. 64]. Если под *изучением* Уиддис подразумевает децентрализованное, неассимилирующее исследование, где различия важнее, чем генерализующее сходство, то *освоение* – это ассимиляция территории под контролем единого центра [Widdis, To Explore or Conquer, p. 221].

Вне зависимости от терминологии, ментальное «открытие» советского пространства властью и гражданами новой страны было важной частью реальности 1920-х годов. Это восприятие подпитывалось мероприятиями текущей политики, среди которых были образование СССР и строительство новых электростанций по плану электрификации. В силу затрудненных коммуникаций местное своеобразие для жителей страны часто оказывалось более важным, чем позиционирование территории по отношению к Москве. Этим, в частности, объясняется расцвет краеведения в 1920-е гг. (см. подробнее: [Козлов]). В соответствии с построениями Лэшле, здесь легко прочитывается взаимосвязь между возникающими по поводу физического пространства новыми правилами, нормами и общественной практикой, и его символическим восприятием [Läpple, s. 196–197].

В парадигме *изучения* территории, по Уиддис, стройки первой пятилетки сформировали восприятие пространства как децентрализованного и динамичного. В тогдашней идеологии это была не столько сфера героического покорения (т. е. приведения к имеющемуся стандарту), сколько пространство возможностей, поле для преобразований. Символом приобщения к неизведанному в идеологическом дискурсе тех лет стал поезд [Widdis, To Explore or Conquer, p. 224].

Формирование сталинского мифа о пространстве. К середине 1930-х гг. по отношению к территории утвердилась идея покорения («*Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли*» [Лебедев-Кумач, Легко на сердце...]). Семантически это означало приведение новых территорий к единому общему стандарту, транс-

⁴ И то, и другое названия нельзя считать удачными. Термин «изучение» плохо соотносится с практикой интенсивного индустриального строительства в годы первой пятилетки. Что касается второго термина, то более привычный перевод слова *conquest* – не освоение, а покорение, завоевание.

лируемому из центра. В терминологии В. Паперного эта идея соответствует стадии «затвердевания» взамен прежнего «растекания» [Паперный, с. 41–142]. Индустриальный рывок, потребовавший колоссального напряжения, неизбежно сменился откатом, стабилизацией. Одновременно была достигнута стабилизация политическая: после XVII съезда ВКП (б) окончательно утвердилось единовластие Сталина. Информация о достижениях с периферии стала менее значимой, чем голос Москвы.

Однако цель, достигнутая в результате реализации индустриальной утопии, неизбежно отличалась от определенной изначально⁵. Тем сильнее было желание власти убедить население в том, что запланированный результат достигнут, и лишь в отдельных местностях (где, по чистой случайности, и живут скептики) еще есть отдельные недостатки. Так рождался миф, генератором которого была власть. Он являлся средством самоидентификации в рамках системы, облегчал контроль над населением и обслуживал *status quo*. Нормативные рамки мифа задавались Конституцией 1936 года.

В контексте территориальной политики такая ситуация означала возникновение подчиненных отношений периферии по отношению к центру. Вместо неупорядоченного разнообразия появилась четкая иерархическая структура радиальной зависимости всех территорий от Москвы. *Освоение* предполагало вписывание в эту структуру с возможностью централизованного контроля над территорией. В политическом плане такая смена приоритетов имела следствием упадок местных элит и их вытеснение назначенцами из центра [Истер, с. 131–159], шельмование краеведения [Козлов; Widdis, To Explore or Conquer, p. 235] и утверждение советской этнографии вместо сомнительной «буржуазной» этнологии [Слезкин, с. 116].

В контексте идеологического освоения территории характерно различие между «покорением» природы и уже обжитых регионов: для осознания власти над природой было достаточно «точечного» промышленного и городского строительства в отдаленных регионах страны; для ощущения доминирования над населенной периферией требовались постоянные подтверждения лояльности центру со стороны местного населения. Лирическая констатация «Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей» [Лебедев-Кумач, Песня о Родине] совмещала маркеры освоения физического пространства и связанные с ним новые идеологические и социальные отношения. Для текущей политики тех лет доминирующим было представление об изначальном превосходстве центра по отношению к периферии. При

⁵ О просчетах «социального инженера» см.: [Поппер, с. 86].

этом идея противостояния центра и периферии была изжита к середине 1930-х гг. Ван Гелдерн полагает, что в сознании современников ее место заняло противостояние СССР и остального мира по линии внешних границ [van Geldern, p. 66].

Изменение роли границы. Восприятие границы в первые после-революционные годы было весьма специфичным: это был временный символический барьер между старым и новым мирами. В этом смысле внутрirosсийская периферия мало отличалась от империалистического Запада: в конечном счете они должны были пасть под натиском победоносной коммунистической идеи.

Идею преодолемости границы в тот период хорошо иллюстрирует фраза Ленина из первоначального варианта статьи «Очередные задачи Советской власти» (1918). Уже не слишком полагаясь на скорую мировую революцию, он писал, что поскольку «наступление социалистической революции на Западе замедлилось и запоздало... нам приходится заимствовать у передовых стран не помощь социалистической организации и поддержку рабочих, а помощь тамошней буржуазии и капиталистической интеллигенции» [Ленин, с. 138–139]. Т. е. граница мыслилась не как защитная стена, а как точка перехода или контакта с внешним миром, с международным пролетариатом. Идея коммунистического интернационала предполагала, что коммунизм скорее разрушает границы, нежели их создает [см.: Widdis, Borders, p. 403].

Институционализация СССР, *во-первых*, как государственного образования, обладающего всеми необходимыми признаками государства, а *во-вторых*, как форпоста социализма во враждебном окружении, привела к постепенному переосмыслению идеи границы, завершившемуся к началу 1930-х гг. Вместо прежних представлений об открытости Советской России как светоча истины и примера для революционеров всех стран в массовом сознании утвердилась идея враждебности внешнего мира и непреодолимости границ. Очень важной, едва ли не сакральной фигурой этого времени является пограничник [van Geldern, p. 66]. Поэтому обращение к футбольному вратарю в известной песне: «*Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет*» [Лебедев-Кумач, Спортивный марш] имело силу довода высшей убедительности.

Географическая карта и мифологема пространства. Уиддис точно замечает, что вместо поезда, предполагающего некоторую включенность человека в окружающий мир, в пространственном дискурсе второй половины 1930-х гг. утвердился самолет. Самолет быстрее преодолевает расстояние, и огромная территория становит-

ся контролируемой. Самолет – это пространство карты и приказов. Пейзаж, открывающийся с самолета, отделен от человека. Он абстрагируется и легко поддается мифологизации [Widdis, *To Explore or Conquer*, p. 235–236].

Действительно, карта наилучшим образом передавала идею огромного освоенного пространства как необходимого компонента сталинского мифа, что часто отмечается в литературе. Именно поэтому картографированию придавалось такое большое значение. Уже в 1935 г. НКВД установил контроль над советской картографией. Середину 1930-х гг. считают временем апофеоза картографирования [Widdis, *Borders*, p. 401]. «Карты, реальные и воображаемые, определяли контуры нового государства и масштабы его влияния. При Сталине географические карты заменили иконы...» [Widdis, *Viewed from Below*, p. 66].

При том, что карта СССР постоянно присутствовала в публичном дискурсе, к *настоящим* картам имело доступ только высшее руководство СССР. Карта выступала в качестве эквивалента власти. Считается, что Сталин правил исключительно по картам [Dobrenko, p. 190]. Поэтому карты, доступные населению, были крайне условными и неточными. Их пропагандистский характер как нельзя лучше демонстрирует огромная карта СССР из драгоценных и полудрагоценных камней под названием «Индустрия социализма», представленная в советском павильоне Всемирной выставки в Париже в 1937 г. [Бабанова, Починко].

Поскольку жителям СССР негде было увидеть реальную карту, оставалось читать и слушать. В результате запрос на изучение своей страны, сложившийся в обществе в результате интенсивных миграционных процессов периода первых пятилеток, обслуживали пропагандистские книги «по занимательной географии» [Dobrenko, p. 189–190].

Главным элементом сталинской карты СССР был центр (Москва) как место обитания лидеров, массы при этом находились на периферии [Clark, p. 14]. Не менее важна была граница («красная линия на карте отграничивает мир социализма»). Здесь была важна не столько форма, сколько содержание – социалистическое государство вместо империи [Dobrenko, p. 192].

Евгений Добренко делает принципиальное наблюдение: время на сталинских картах было важнее пространства. С одной стороны, с их помощью постоянно проводилось сравнение дореволюционной и советской территории по принципу «тогда и сейчас». С другой – карты представляли желаемый образ будущего, все описывалось в будущем времени («какими *будут* Москва и Сталинград»). Пространство таким образом преобразовывалось во время, география – в историю, а визуальное – в вербальное. Все вместе порождало некое четвертое измерение, мифологическое по сути [Dobrenko, p. 190, 198, 199].

Итак, анализ подходов к освоению пространства с точки зрения эволюции большевистской идеологии укладывается в контекст ментальных интерпретаций в духе «пространственного поворота». С другой стороны, для понимания процесса советской реконцептуализации пространства на протяжении 1920–1930-х гг. от материального физического к мифологическому полезна актуализированная Лефевром и Лэппле идея социального пространства в том смысле, что в основе изменений восприятия пространства как элитами, так и массами лежали мероприятия текущей политики. Эта же идея помогает понять, как соотносились изначальные цели большевиков в деле освоения территории и достигнутые ими результаты.

После завершения активной фазы индустриализации в середине 1930-х гг. авторитарная власть нуждалась в «мифе достижения» для укрепления собственного авторитета и обеспечения лояльности со стороны населения. Питательной средой для возникновения сталинской мифологии пространства явилась невозможность доступа населения к достоверной информации в условиях слабости коммуникаций, ограниченной свободы передвижения и жесткого идеологического и полицейского контроля.

Бабанова Е. Е., Починко О. С. Карта индустриализации СССР из поделочных и драгоценных камней [Электронный ресурс]. URL: http://min.usaca.ru/uploads/article/attachment/389/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%95..pdf (дата обращения: 21.10.2018).

Горбачев О. В. «Эй, губернии, снимайтесь с якорей!»: идея территориального освоения в большевистской мифологии // *Quaestio Rossica*, 2017. Vol. 5, № 3, p. 675–692.

Двенадцатый съезд РКП (б). 17–25 апреля 1923 года : стеногр. отчет. М., 1968.

Егоров К. Д. Районирование СССР. Сборник материалов по районированию с 1917 по 1925 годы. М.-Л., 1926.

Истер Дж. М. Советское государственное строительство. Система личных связей и самоидентификация элиты в Советской России. М., 2010.

Козлов В. Ф. «Огосударственное» краеведение. История и уроки (по страницам журнала «Советское краеведение». 1930–1936) // *Вестн. РГГУ*. 2013. № 9 (110) (Сер. История. Филология. Культурология. Востоковедение). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ogosudarstvennoe-kraevedenie-istoriya-i-uroki-po-stranitsam-zhurnala-sovetskoe-kraevedenie-1930-1936-1> (дата обращения: 20.10.2018).

Лебедев-Кумач В. Легко на сердце от песни веселой. Марш из к/ф «Веселые ребята» (1934).

Лебедев-Кумач В. Песня о Родине. Из к/ф «Цирк» (1936).

Лебедев-Кумач В. Спортивный марш. Из к/ф «Вратарь» (1937).

Ленин В. И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи Советской власти» // Ленин В. И. Полн. собр. соч. : в 55-ти т. Т. 36. С. 127–164.

Лефевр А. Производство пространства. М., 2015.

Мартин Т. «Империя положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.

Маяковский В. В. Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка (1929).

Меерович М. Г. Конфликт двух методологических подходов к административно-территориальному районированию: «генетического» и «телеологического» // МШК. Московская школа конфликтологии (сайт). [Электронный ресурс]. URL: <http://conflictmanagement.ru/konflikt-dvuh-metodologicheskikh-podhodov-k-administrativno-territorialnomu-rayonirovaniyu-geneticheskogo-i-teleologicheskogo> (дата обращения: 08.10.2018).

Паперный В. Культура Два. 2-е изд., испр. и доп. М.: 2006.

Поптер К. Нищета историцизма. М.: Прогресс, 1993.

Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история : в 2 т. Т. 1. Конструирование прошлого. СПб., 2003.

Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне. 1928–1938 // Этнографическое обозрение. 1993. № 2. С. 113–125.

Филиппов А. Ф. Социология пространства. СПб., 2008.

Шенк Ф. Б. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных дорог. М., 2016.

Dobrenko Evgeny, Naiman Eric (Eds.) The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space. Seattle – London, 2003.

Clark Katerina. Socialist Realism and the Sacralizing of Space // Dobrenko Evgeny, Naiman Eric (Eds.). The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space. Seattle – London, 2003. P. 3–18.

Dobrenko Evgeny. The Art of Social Navigation: The Cultural Topography of the Stalin Era // Dobrenko Evgeny, Naiman Eric (Eds.). The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space. Seattle – London, 2003. P. 163–200.

Hirsch F. Toward an Empire of Nations: Border-Making and the Formation of Soviet National Identities // The Russian Review. 59 (April 2000). P. 201–226.

Läpple Dieter. Essay über den Raum. Für ein gesellschaftswissenschaftliches Raumkonzept // Hartmut Häußermann u.a. (Hg.): Stadt und Raum. Soziologische Analysen. Pfaffenweiler, 1991. S. 157–207.

Ruder Cynthia A. Building Stalinism. The Moscow Canal and The Creation of Soviet Space. London – New-York, 2018.

Schloegel Karl. In Space We Read Time: On the History of Civilization and Geopolitics. New-York, 2016.

Seegel Steven. Mapping Europe's Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire, Chicago – London, 2012.

van Geldern James. The Centre and the Periphery: Cultural and Social Geography in the Mass Culture of the 1930's // White Stephen (Ed.). New Directions in Soviet History. Cambridge – New-York, 1992. P. 62–80.

Widdis Emma. Borders: The Aesthetic of Conquest in Soviet Cinema of the 1930s // Journal of European Studies. 2000. 30 (120). P. 401–411.

Widdis Emma. To Explore or Conquer? Mobile Perspectives on The Soviet Cultural Revolution // Dobrenko Evgeny, Naiman Eric (Eds.). The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space. Seattle – London, 2003. P. 219–241.

Widdis Emma. Viewed from Below: Subverting the Myths of the Soviet Landscape // Beumers, Birgit (Ed.) Russia on Reels. The Russian Idea in Post-Soviet Cinema. New-York, 1999. P. 66–75.

УДК 94(470.5).084.3

Т. В. Соловьева

ПЛАН ГОЭЛРО КАК МИФ¹

В статье рассматриваются направления наиболее значимого искажения информации о создании, содержании и выполнении плана ГОЭЛРО с целью выявления целей и характера пропагандистского воздействия. Сделан вывод о том, что в 1920–1930-е гг. был создан миф о плане ГОЭЛРО, действующий до сих пор. Содержание этого мифа сводится к тому, что план ГОЭЛРО – это успешный экономический проект, реализованный благодаря единству власти и народа.

Ключевые слова: план ГОЭЛРО, электрификация России, социальная мифология.

Изучение современных мифов привлекает внимание социологов, политологов, философов и историков с конца XIX в. К настоящему времени сложились такие направления исследования современного мифа, как феноменологическое (А. Ф. Лосев), психоаналитическое

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №16-18-10106 «Раннесоветское общество как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты конструирования»)